

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ



ноябре месяце 1944 года ко мне позвонил по телефону Александр Николаевич Тихонов (Серебров) и сказал, что Алексей Толстой очень болен.

— Надо поддержать его настроение. Вас он любит — напишите ему письмо. Я вспомнил разговор Алексея Максимовича о героях Алексея Толстого.

Обутый от холода в китайские туфли на толстой подошве, одетый в серый пиджак, правый рукав которого был обрызган чернилами, Алексей Максимович вышел из своего кабинета в большую комнату, в которой жил Иван Николаевич Ракитский.

Там внизу, за окном, ледяными водорослями белели

деревья Кронверкского парка и отраженным восклицательным знаком золотел шпиль Петропавловской крепости.

— Про умное легче писать,— сказал Горький.— У меня, грешного, в моей книге мальчик много знает и очень об этом старается рассказать. Даже у Льва Николаевича Толстого, когда он молодым был, в «Детстве» мальчик умен. В литературе мальчишки умны и много рассуждают. А вот у Алексея Николаевича в «Детстве Никиты» мальчик совсем ни о чем не думает, он просто живет, и какой это настоящий человек! Как много мы за него думаем!

Особенно Алексей Максимович хвалил главу «Домик на колесах».

Мать Алексея Толстого — писательница Бостром в «Роднике» напечатала повесть, и в ней Алексей Николаевич описан мальчиком таким, каким его видела мать.

Но у Толстого мальчик живой, круглый; сменяются времена года, приходит осень, как будто в первый раз увиденная, потом зима; весна шумит в оврагах — широкими потоками, замешенными с талым снегом, и через них плывет на коне домой веселый, непугающийся человек.

Я собрал мысли, вспомнил дом Толстого, розы, которые он сажал в своем саду: землю для роз он уносил с огородных грядок, потом зеленые веселые огурцы, обвившие розы, висели на строгих колючих ветках, — семена огурцов были перетащены вместе с землей.

Я писал Алексею Николаевичу, что всего труднее выразить счастье и показать человека вместе с его временем, показать его счастливым, хотя и спорящим с временем.

Алексею Толстому после долгих лет работы удалось написать Петра Алексеевича реальным, показать его счастливым, влюбленным.

Мастерство Толстого все время шло в гору.

Екатерина написана человеком, который понял, что такое барокко, понял голландские рисунки, резное дерево, тогдашние сады и понял тогдашнего человека.

Мы чувствуем тело Екатерины под ее платьем: она живой ходит по комнатам среди настоящих, крепко стоящих на полу стульев и в саду опускается в воду, которая отражает настоящее московское небо.

Круглый, крепкий, как литой, веселый Алексей Николаевич любовался на Екатерину.

Опыт и любовь немолодого, но не состарившегося человека выражены в третьей части «Петра».

Я писал и забыл, что писатель болен, и написал, что, может быть, галантность, любовные похождения, Санька, широкогрудый Август в тяжелых кованых латах, любовницы Августа, жареные пиявки, шляхтичи, разрубающие оловянные блюда с колбасами, затмили в третьей части романа пушкинско-ломоносовского Петра.

Медный всадник точен; бронза, застыв, хорошо заполнила то место, которое занимал в жизни могучий человек.

Взлет над Невой, рука, обращенная вперед,— это большая реальность.

Санька, родившаяся в избе и ставшая красивейшей женщиной Парижа,— это вторая, подчиненная реальность.

Петра возможно написать с тем же мускульным ощущением, с которым даны Меншиков, Санька и Екатерина.

Снова восстанавливать Петра-статую — не надо, но в новом Петре нашей литературы должен быть и опыт великих предшественников и новое ощущение свободы отношения к герою.

В Петре возможно показать самое главное: дать в нем самом его иронию к тому, что в его жизни меньшее, временное. Такие моменты иронии у Петра были.

Копии письма я не сохранил. Может быть, письмо сохранилось в архиве Алексея Николаевича.

Отправил письмо и, только опустивши, сообразил, что как будто предложил безнадежно больному человеку пересмотреть им написанное.

В ответ я скоро получил письмо. Даю его, слегка сокративши:

«Дорогой Виктор Борисович, я получил Ваше письмо, когда был очень нездоров, поэтому не ответил. Сейчас прочел еще раз,— в нем тысяча мыслей, идей, впечатлений, ощущений. Я его поберегу, а когда напечатаю еще несколько глав — Вы мне еще напишете. То, что Вы говорите о прохождении Петра в третьей части — верно. У меня было это беспокойство: не прошел бы он на втором плане в виде статуи. Меня, как ветром, тащило в сторону. Два месяца я не мог работать, и только на днях

начал прямо с оживления Петра. Еще затруднение — втаскиваю в роман новых персонажей, — расширение его поверхности. Оказывается, это совсем не легкая штука. В первой и второй части это было легко, а сюда их надо втаскивать. Хочется написать о Саньке в Париже... Роман хочу довести только до Полтавы, может быть до прутского похода, еще не знаю. Не хочется, чтобы люди в нем состарились, что мне с ними со старыми делать?

Мне было очень приятно и полезно получить Ваше письмо. Отвечу Вам на него следующими главами.

Крепко жму Вашу руку

21 ноября 1944

Алексей Толстой».

Для настоящего писателя найти основание для того, чтобы переделать уже написанную вещь, — радость, потому что он в своем развитии стоит выше того, что написал. Рукопись кажется черновиком, писатель учится, переделывает, не насыщаясь жизнью, не чувствуя мастерство найденным и исчерпанным.

Вот почему Алексей Толстой и в дни болезни был рад письму.

Жить вечно нельзя, но счастлив тот, кто умирает, не истратив себя, продолжая учиться. Восходит солнце. Тают снега, шумят овраги. Ручьи бегут в реки.

Большой писатель ширеет как река, принимает опыт других как притоки и впадает в океан.

Океанские волны приветствуют его вхождение в вечный, медленно расширяющийся, нужный всем океан искусства.

Этот океан по крупице, по капле собирает в себя всю соль и всю мудрость земли.